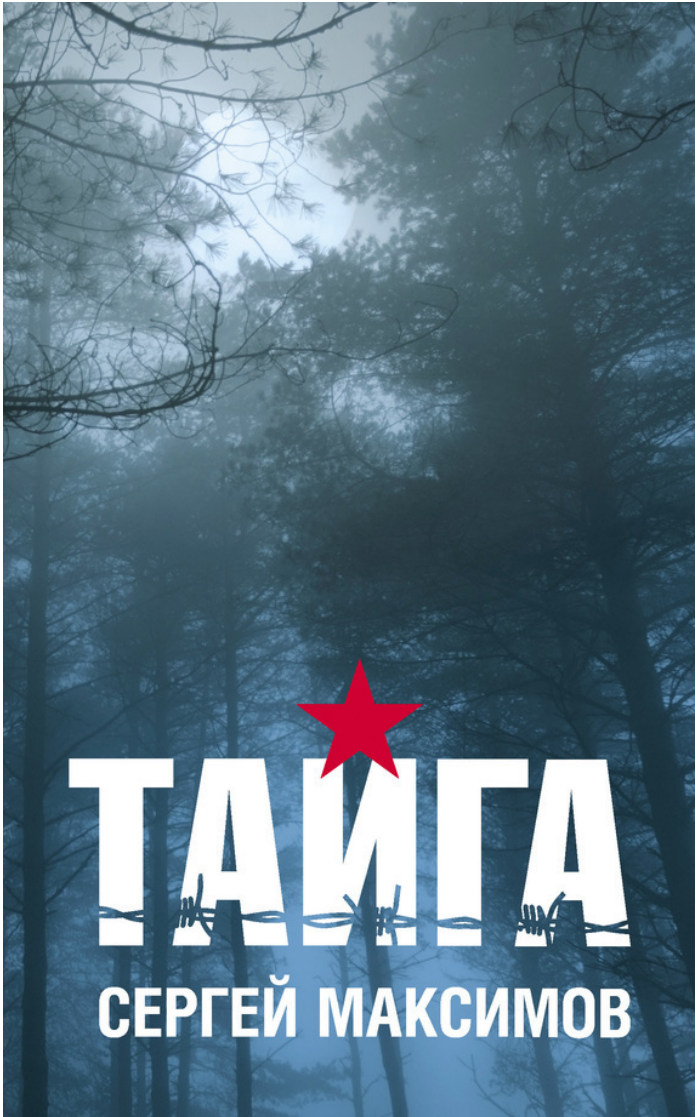

ТАЙГА
СЕРГЕЙ МАКСИМОВ

Сергей Сергеевич Максимов
Тайга (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=19224735
Тайга : РИМИС; Москва; 2016
ISBN 978-5-906122-34-6

Аннотация

«Цель моей книги – показать, как спланированная Сталиным система террора воплощалась в жизнь. Стараясь быть максимально объективным, я почти не делаю обобщений и выводов в моей книге, а просто рассказываю о том, что видел и что пережил в советском концлагере за пять лет пребывания в нем».

(С. Максимов)

«Максимов дает безукоризненно правдивые зарисовки принудительного труда в советских концентрационных лагерях. Сборник его рассказов согрет состраданием к человеку. Но это сострадание не жалостливое, а мужественное…»

(В. К. Завалишин)

Содержание

Сергей Сергеевич Максимов (1916–1967)	5
Предисловие	12
Прохожая	14
Пианист	31
Воспитатель	44
На этапе	56
Одна ночь	65
Одиссея арестанта	73
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Сергей Максимов
Тайга

© Оформление, составление. Издательство РИМИС, 2016

© А. Любимов, вступительная статья, приложение, 2016

* * *

К столетию со дня рождения С. С. Максимова (Пасхина)

Сергей Сергеевич Максимов (1916–1967)

Вдаль от твоей неповторимой Волги Тебя унес судьбы водоворот.
«С. С. Максимову» А. Говоров

Год 2016-й с уверенностью можно назвать годом возвращения в Россию книг талантливого русского писателя Сергея Сергеевича Максимова. Особенно надо отметить, что это событие происходит в канун столетия со дня рождения писателя.

Вспоминается время, когда только начиналось мое знакомство с творчеством С. Максимова…

В начале 90-х годов прошлого века мне удалось приобрести несколько книг, выпущенных русским издательством им. Чехова в Нью-Йорке. Среди них оказался роман русского эмигрантского писателя Сергея Сергеевича Максимова «Бунт Дениса Бушуева». Как оказалось, эта книга была продолжением романа «Денис Бушуев», напечатанного еще в 1950 г. в Германии издательством «Грани». В предисловии к роману было сказано несколько слов об авторе: «Сергей Сергеевич Максимов родился в 1917 г. на Волге»[1]. При

[1] С. Максимов. Бунт Дениса Бушуева. Издательство им. Чехова. Нью-Йорк, 1956, с. 3.

чтении книги обнаружилось, что действие романа происходит в 30-е годы прошлого столетия в окрестностях Костромы, в Татарской слободе, и в селе Отважном, название которого в повествовании оказалось вымышленным. Несколько лет время от времени я старался узнать о судьбе С. Максимова, но все усилия оказывались напрасными. И только в 2006 г. мне удалось узнать из словаря русских и советских писателей, вышедшего в Нью-Йорке на английском языке, что Сергей Максимов родился в селе Чернопенье Костромской губернии 1 / 14 июня 1916 года[2]. При всех неточностях, связанных с датой его рождения, появилось еще одно обстоятельство, требующее проверки – это настоящая фамилия писателя. Как потом выяснилось, Сергей Сергеевич пользовался несколькими псевдонимами, настоящая же его фамилия была Пасхин[3].

Сергей Максимов прожил трудную, полную лишений и трагических событий жизнь: арест, сталинские лагеря, немецкий плен, Германия, отъезд в 1949 г. в США. После него практически не осталось архивов, и единственными источникоми по изучению жизни и творчества писателя стали его литературные произведения, многие из которых содер-

---

[2] Wolfgang Kasack. Dictionary of Russian Literature since 1917. Columbia Univercity Press, New York, 1988, p. 233.

[3] С. Максимов еще имел псевдоним Сергей Широков – от девичьей фамилии матери – Широкова. Подробнее см.: А. А. Любимов. К 40-летию со дня смерти Сергея Максимова. 1916–1967. Возвращение. Новый журнал, № 246, сс. 217–225. Нью-Йорк, 2007.

жат автобиографические сведения, да переписка с родным братом Николаем. В 1949 г. в одном из забытых ныне эмигрантских изданий он пишет о своем аресте: «Весной 1936 года, вместе с группой товарищей-студентов, я был арестован в Москве органами НКВД и обвинен в антисоветской деятельности. Первые три месяца заключения я провел в одиночной камере Лубянской тюрьмы, затем меня перевели в Бутырскую тюрьму, где я находился до конца предварительного следствия. В начале 1937 года следствие по нашему делу было закончено, и мы предстали перед Специальной Коллегией Московского Городского Суда. Судебное следствие велось при закрытых дверях. Все мы были приговорены к разным срокам лишения свободы»[4]. С. Максимов по приговору суда получил пять лет и был сослан в Севжелдорлаг на строительство железной дороги, к северным склонам Уральских гор, где велась разработка каменного угля. Тяготы лагерной жизни он и описал в рассказах, объединенных в сборник под общим названием «Тайга», вышедший в Чеховском издательстве в Нью-Йорке в 1952 г. Судьба книги, как и жизнь его автора, была трудной. Она была написана во время первых месяцев эмиграции в Германии и носила название «Алый снег». Тираж книги был только что напечатан и находился в типографии города Лейпцига. Во время бомбежки города английской авиацией прямым попаданием

[4] С. Максимов. Цена одной прогулки Сталина. «Народная правда», № 3, с. 18. Париж, апрель 1949.

бомбы в здание типографии был уничтожен весь тираж книги. И только в 1952 г. она вышла в свет в Нью-Йорке в издательстве им. Чехова с названием «Тайга».

Но С. Максимов не планировал первоначально издавать сборник рассказов. В 1951 году им было написано объемное поизведение на лагерную тему «Одиссея арестанта».

Частью сохранившаяся рукопись книги поражает своим объемом и состоит из 13 глав. В предисловии к этому объемному произведению автор сообщал: «Цель моей книги – показать, как спланированная Сталиным система террора воплощалась в жизнь. Стараясь быть максимально объективным, я почти не делаю обобщений и выводов в моей книге, а просто рассказываю о том, что видел и что пережил в советском концлагере за пять лет пребывания в нем»[5]. К сожалению, уже готовую рукопись на русском языке отказывается печатать издательство им. Чехова в Нью-Йорке. А ее английский перевод отклоняется американским издательством «Scribner and Sons». Тогда писатель и решает сделать из «Одиссеи арестанта» сборник рассказов «Тайга», но в него не вошла и половина того, что было написано в «Одиссее арестанта». Но тем не менее книга имела успех в среде русской эмиграции. Так литератор В. К. Завалишин в рецензии на «Тайгу» замечает: «Максимов дает безукоризненно правдивые зарисовки принудительного труда в советских

[5] А. А. Любимов. Между жизнью и смертью. «Новый журнал», 2009, № 255, с. 183.

концентрационных лагерях. Сборник его рассказов согрет состраданием к человеку. Но это сострадание не жалостливое, а мужественное…»[6]. Отличительная черта рассказов из сборника «Тайга» состоит в том, что автор пишет о конкретных людях. Можно было бы привести достаточное количество примеров из судеб многих героев этих повествований. Так один из рассказов помог В. Безекович, урожденной Дурунча, узнать о гибели ее брата. В письме к С. Максимову из Парижа за 1954 г. она пишет: «Из Вашего рассказа „На этапе“, помещенного в сборнике «Тайга», узнала о смерти (расстреле) моего брата В. Дурунчи. От этих извергов трудно было ожидать спасения, но все же я не допускала такого трагического конца, повергшего меня в глубокий траур… Примите мои наилучшие пожелания и душевную благодарность»[7]. Речь в рассказе шла о полковнике царской армии Виталии Александровиче Дурунче, растрелянном 7 марта 1937 г. и похороненном на кладбище Донского монастыря в Москве.

После выхода «Тайги» С. Максимов продолжает лагерную тему, печатая изредка рассказы в нью-йорской газете «Новое русское слово», в которых он вновь переживает личную драму. Кроме того, он пишет и о войне, о любви, и своем род-

[6] В. Завалишин – С. Максимов. Тайга. Нью-Йорк, 1952. «Новый журнал», № 30, с. 297–291. (Завалишин Вячеслав Клавдиевич (1915–1995), литератор, журналист, переводчик.)

[7] Письмо С. Максимову от В. Безекович. А. А. Любимов. Между жизнью и смертью. «Новый журнал», № 255, с. 191.

ном Чернопенье. К середине 60-х в газете было опубликовано около 30 рассказов. Сергей собирался издать их в сборнике, но прогрессирующая болезнь, отсутствие средств и одиночество не позволили ему исполнить задуманное.

За несколько месяцев до своей кончины Сергей Максимов видится с братом Николаем, приехав к нему в конце декабря 1966 г. После отъезда Сергей в одном из последних писем брату высказывает пожелание еще раз увидеться с ним, но, чувствуя, что этого может не произойти, заканчивает письмо прощанием со всем, что ему было дорого всю его нелегкую жизнь: «Не забывай меня, милый брат! Молю Бога часто хранить Чернопенье и всех наших…»[8].

12 марта 1967 г. Сергей Максимов скончался в своей квартире в Лос-Анжелесе. На его смерть откликнулись многие близкие ему люди своими воспоминаниями, напечатанными в русских эмигрантских изданиях.

Очень тяжело перенес смерть брата Николай Сергеевич. В письме писателю и другу Владимиру Самарину (1913–1995) он писал: «Горе мое – невыразимо, и я – духовно и физически – едва-едва держусь. Не знаю, как выстою этот новый, страшный удар. В жизни образовалась какая-то странная пустота, и никакими словами нельзя выразить чувств, терзающих сейчас меня…»[9]. Похоронен С. С. Максимов на Серб-

[8] Письмо 25 января 1967 г. (Николай Сергеевич Пашин (Пасхин) – 1908–1976. Писатель, публицист, переводчик. Родной брат С. Максимова.)

[9] Письмо В. Самарину 23 марта 1967 г.

ском кладбище в пригороде Сан-Франциско.

Спустя год после смерти писателя в «Новом русском слове» были напечатаны воспоминания давнего друга Сергея Сергеевича журналиста Н. Мишаткина, в которых он отмечает писательский талант С. Максимова: «Удивительно то, что все то, что он писал, было быстро и легко написано, как говорят, без запинки. Откуда у него это бралось? Сядет за стол, немного подумает и экспромтом, почти без поправок, напишет остроумное и веселое стихотворение»[10].

С. Максимов через все годы жизни в эмиграции сохранил любовь к России, к своему родному селу Чернопенье, родным волжским берегам. Он отразил эту любовь в своих произведениях. Жители Чернопенья уже читают «Дениса Бушуева», «Тайгу», «Голубое молчание». Их талантливый писатель-земляк вернулся в родное село своими книгами.

[10] Н. Мишаткин. Сережа. «Новое русское слово», № 20077, 1968. (Мишаткин Михаил Федорович (1911–1973). Писатель, художник. Был знаком с С. Максимовым еще с лагеря ди-пи Менхегоф в Германии.)

Предисловие

Сергей Сергеевич Максимов родился на Волге в 1917 году в семье сельского учителя. В 1920 году вся семья переехала в Москву. По окончании средней школы, Сергей Максимов поступил в Литературный институт, но два года спустя был арестован НКВД и приговорен к 5 годам заключения в концентрационном лагере на Печоре. После окончания пятилетнего заключения он вернулся в центральную часть Советского Союза и поселился в маленьком городке, который во время войны был занят немцами в 1941 году. В следующем году Максимов был арестован немцами и после шести месяцев тюрьмы отправлен гестапо на работы в Германию.

Максимов рано начал писать, сотрудничал в детских и юношеских журналах – в «Мурзилке» и в «Смене». После войны, находясь в лагере Ди-Пи в Германии, он написал свой первый роман «Денис Бушуев». Роман этот вышел на немецком, на русском и на английском и встретил единодушный благоприятный отзыв критики.

«Тайга» – собрание рассказов о жизни в советских концентрационных лагерях. На фоне девственной тайги Максимов мастерски зарисовал серию портретов жертв НКВД и самих мучителей. Жестокость и произвол – вот подлинные владыки необозримых просторов севера, в которых расположено так много концлагерей. Редки здесь улыбка и челове-

ческое участие, но, когда на мгновение вспыхивает улыбка или протягивается рука помощи, – это прорывается с такой непосредственностью, что вселяет и в читателя веру в то, что только доброму началу в человеке обеспечена конечная победа над злом.

Издательство имени Чехова

Жене Софье Максимовой
посвящаю

Прохожая

Пусть жизнь оборвется на живом звуке, сразу, без стонов, без жалоб нищенских.
Лесков

Ранней весной меня отправили по этапу с лагпункта Ропча на север, на реку Печору. В Усть-Кожве местное началь-

ство определило меня в геологическую изыскательную партию в качестве лаборанта полевой лаборатории.

Принимая лабораторию и роясь в «журналах анализов», я нашел несколько листков из дневника вольнонаемного лаборанта Михайлова, моего предшественника, утонувшего в реке при спасении одного из рабочих – бурильщиков. Листки были датированы 2-м и 3-м февраля 1940 года. Начальник экспедиции мне рассказал, что незадолго до смерти Михайлов сжег какие-то бумаги, очевидно дневник. Я сначала подумал, что листки за 2-е и 3-е февраля остались случайно, но потом решил, что Михайлов сохранил их намеренно: на уголке первого листка, карандашом, рукой покойного лаборанта было написано: «Сохранить обязательно»… Привожу эти два дня из дневника.

«2 февраля.

…Третий день метет пурга. Наши крошечные брезентовые палатки утонули в сугробах пышного снега. В одной палатке живет начальник геологической изыскательной партии инженер Петров, во второй устроена маленькая полевая лаборатория, в этой, второй, живут два коллектора и – я. В третьей – рабочие.

Вечер. Железная печка раскалена докрасна. Сосновые дрова звонко потрескивают, тускло блестят колбы и стеклянные цилиндры на моем столе. Слышно, как шуршит по брезенту сухой снег. Слабо горит семилинейная керосиновая лампа с разбитым стеклом. Это стекло разбил коллектор

Головин в белой горячке.

Я один. Начальник партии, коллекторы и рабочие уехали третьего дня на гору Убысь бурить гравийные карьеры. Они должны были вернуться еще вчера, но, очевидно, помешала пурга.

Возле палатки рабочих повар Иван, мордвин с Волги, колол дрова. При каждом ударе топора он кряхтел и смачно ругался.

Я вывернул побольше фитиль лампы, присел к раскаленной печке, скрестил на коленях руки и задумался. Тонко свистел ветер в сучьях деревьев над палатками. Забравшись в жестяную трубу, он пахнул из печки черным, смолистым дымом. Горсть снежинок, прорвавшись в отверстие между трубой и брезентом, серебристой пылью осыпала меня, зашипела на раскаленном железе трубы.

Откинув полог палатки, запушенный снегом, вошел с охапкой дров Иван, бросил их наземь, отряхнулся.

– Ну и погодушка, мать ее…

– Чай поставил? – осведомился я.

– Поставил. Скоро закипит, – лениво ответил он и вышел, но через секунду просунул голову и, испуганно посмотрев на меня, сообщил:

– Кричит кто-то в тайге…

Я поспешно вышел вслед за ним. Черной стеной стоял лес в белом кружеве снега. Меж быстро бегущих туч мелькал зеленый диск луны, безразлично и плавно ныряя в лохматых

облаках. Крутила метель. Мы прислушались.

– И-и-и… а-а-а… – донесся откуда-то из тайги неразборчивый крик. Кричала женщина, и, по-видимому, недалеко.

– А-а-а…

Я забежал в палатку, надел шапку и телогрейку, сунул за пояс маленький топорик. Иван выдернул из сугроба две пары лыж, бросил одну пару мне и, натягивая ремни лыж на валенки, прерывисто проговорил:

– Недалеко кричит… на реке.

Ее мы нашли в трехстах метрах от нашего бивака, на берегу Кожвы – маленького притока холодной Печоры. Она сидела на снегу, прислонясь спиной к стволу дерева. Голова закутана теплым платком. Из-под него странно блестели большие глаза с инеем на ресницах. Рядом валялся туго набитый дорожный мешок.

– Сбилась с пути… – проговорила она низким, чуть охрипшим голосом. – Вы кто?

– Геологи, изыскатели, – ответил я… – Вставайте, а то замерзнете.

Женщина поднялась.

– Лыжи я бросила… Такая метель. Далеко до вас?

– Нет, рядом. Пойдемте, обогреетесь. Вы откуда?

Она замялась, помолчала, потом тихо ответила:

– Из Усть-Ухты. Несу почту, да вот сбилась с дороги, чуть не замерзла… Без лыж трудно будет.

– Я вам свои дам, – предложил я. – Только сначала вам

надо высушиться и переждать пургу.

Войдя в мою палатку, она бессильно опустилась на койку и протянула озябшие руки к печке.

– Помогите, пожалуйста, раздеться… у меня руки совсем окоченели.

Я развязал платок, снял с нее бушлат и стянул с маленьких босых ног промерзшие заскорузлые валенки. Она влезла с ногами на койку, обхватила колени руками и, положив на них подбородок, пристально посмотрела на огонь. Черные курчавые волосы беспорядочно рассыпались по плечам, оттеняя белый гладкий лоб. Яркие, чуть отвернутые губы чему-то улыбались, а над темными большими глазами, на густых ресницах блестели не то капли растаявших снежинок, не то слезы. Короткие рукава шерстяной блузки обнажали красивые полные руки.

– Как ваше имя?

– Ирина. А ваше?

Я назвал себя и предложил ей выпить немного спирта.

– С удовольствием. Я так озябла.

Я налил в маленькую мензурку слаборазведенного спирта. Она выпила, закашлялась и замотала головой. Мы рассмеялись.

– Крепко?

– Очень, – ответила она, показывая в улыбке полоски белых, чистых зубов.

Недалеко от палатки, оглушительно захлопав крыльями,

взлетела птица. Ирина испуганно вздрогнула и взглянула на меня.

– Что это?

– Глухарь взлетел.

– А страшно ночью в тайге. Если бы не вы, я бы замерзла…

Вошел Иван с кипящим чайником в руках. Прихлебывая кипяток, заваренный сухими листьями черной смородины, мы слушали шум метели и вели неторопливый разговор. Мало-помалу развеселились. Иван пел смешные мордовские песни и, как говорится, «под шумок» выпил весь мой запас спирта. Добродушное, рябое лицо его залоснилось, как облитая яичным желтком розовая булка. Под конец он совсем разошелся и стал показывать уморительные мордовские танцы, лавируя между койкой, столом и печкой. Мы забыли про пургу и на целый час ушли в какой-то новый для нас мир. Как немного надо человеку, чтобы быть почти счастливым!

Потом Иван ушел. Я решил предоставить свою палатку Ирине и переночевать в палатке рабочих. Как всегда бывает у людей, надолго изолированных от внешнего мира, после бурных вспышек веселья наступает тяжелое похмелье. Минут десять после ухода Ивана мы сидели молча, опустив головы, погруженные каждый в свои мысли.

– Ну, а завтра что? – вдруг спросила она.

Я поднял голову, не поняв странного вопроса. Она провела рукой по волосам и сама ответила:

– А завтра я возьму рюкзак и пойду тайгой по морозу… навстречу… навстречу…

Она упала на мешок с сеном, заменявший мне подушку, и навзрыд заплакала.

– Что с вами? Ну, бросьте, бросьте…

Ее полные плечи вздрагивали от рыданий. Порыв ветра оторвал полог палатки, бросил ворох снега и заполоскал оторванный брезент. Я подошел и закрепил полог. Ирина привстала и взглянула на меня мокрыми от слез глазами.

– Ну, скажите, зачем вы нашли меня сегодня в тайге? Зачем вы спасли меня? Лучше бы я замерзла там… сразу бы к одному концу… Зачем вы спасли меня?

– Затем, что вы кричали, – стараясь сохранить спокойствие, ответил я и стал набивать трубку.

Она как-то по-детски улыбнулась и вытерла платком слезы.

– Верно, – сокрушенно вздохнула она, – кому же умирать хочется? И мне совсем не хочется умирать… совсем не хочется…

Она затихла и задумалась.

Я подошел к печке, протянул руки к раскаленной трубе и, не глядя на Ирину, негромко спросил:

– Скажите, зачем вы мне лжете?

Она даже не изменила позы, не взглянула на меня, будто ожидала этого вопроса. Подумав, спокойно ответила:

– Затем, что не могу сказать вам правду…

– Почему? Впрочем… простите… я не подумал, – спохватился я, поняв, что мой вопрос неучтив, но почувствовал, что как-то объясниться надо, и добавил: – Видите ли, почему я спросил… Я жил в Москве. И детство, и сознательную большую часть жизни я провел там. Я инженер. Правда, предпочитаю работать простым лаборантом по некоторым причинам. По этим же причинам, о которых, может быть, позднее я скажу, предпочитаю глухую тайгу нашей столице. И вот, глядя на вас, я узнаю человека своего круга… Та же манера говорить, тот же московский акающий акцент, те же интеллигентские привычки. Я заметил, как быстрым и точным движением вы поправили волосы, я заметил, как вы держались за столом. Одним словом, вся ваша маскировка под таежную почтальоншу очень неопытна и неуклюжа. И, согласитесь, что совершенно естественно встал передо мною вопрос: кто же она, эта таежная почтальонша с московским акцентом? Простите меня за мою неучтивость, но…

– Вы не сделали ничего неучтивого, – перебила она меня, – тайга освобождает людей от многого, в том числе, очевидно, и от учтивости.

Я молчал.

– И еще: мужчины забывают, например, что на свете существуют бритвы…

– Это вы насчет моей бороды?

– Нет… вообще.

– Видите ли, борода меня защищает от мороза.

– И еще кое от чего…

Закинув руки за голову, она блеснула полосками зубов.

Я промолчал.

– Например, влюбиться в вас невозможно, – не унималась она.

«Дорого же мне обойдется мое любопытство», – подумал я и мысленно послал себя к чёрту.

– Вы посмотрите на себя, на кого вы похожи! На лешего! Длинные волосы, рыжая борода…

– Не рыжая, а каштановая… – попробовал отшутиться я.

– Каштановая, каштановая… – передразнила она, – а я говорю рыжая, стало быть – рыжая! Ну-с, что вас еще интересует? Может быть, сказать, сколько мне лет?

– Зачем? Не думаете ли вы, что я скоро начну бриться?

– Это вы мне в отместку за мое откровенное мнение о вашей внешности? Я считала вас остроумнее… Однако кто же все-таки я? Как вы думаете?

– Я не буду отвечать. Вам это, видимо, неприятно, а я не хочу, чтобы вам было неприятно.

– Но я настаиваю и… прошу. Кто же я?

– Прохожая… – спокойно ответил я, раскуривая потухшую трубку.

– И только?

– И только. По крайней мере, для меня.

– Прохожая… – усмехнулась она, презрительно и с ненавистью глядя мне в глаза.

– Прохожая…

– …которая не выдержала бы экзамена, если бы захотела стать актрисой, – добавил я.

Она вскочила, темные глаза ее заблестели злым огоньком затравленного зверька.

– Да! – крикнула она. – Я лгу! Слышите: я лгу! Я не почтальонша и никогда ею не была! Я такой же инженер, как и вы, с той только разницей, что я… что я… – она проглотила слова и снова повалилась на койку, глубоко дыша и нервно покусывая алую отвернутую губу.

– Впрочем, – добавила она через некоторое время, – вам нет ведь дела до того, какая между нами разница. Ведь я для вас только… прохожая.

Минут пять мы молчали. Я досадовал на себя. Мне было ее жалко. Я встал и решил идти к себе. Кстати, и лампа начинала тухнуть – керосин выгорал. Но Ирина опередила меня:

– Я очень хочу спать.

– И хорошо сделаете, – сказал я. – Вот вам моя койка, вот одеяло, сверху накройтесь еще вашим бушлатом. За печкой я послежу. Спокойной ночи.

Я вышел. Всё так же крутила метель, раскачивая сухие ели и лиственницы. Луна скрылась, на реке отрывисто, надоедливо лаяла лисица. В палатке рабочих храпел Иван, несмотря на несусветный холод – печка потухла. Я раздул угли, подбросил дров и, когда они весело вспыхнули, достал книгу, уселся перед печкой и принялся читать. Прочитав страницы

две и убедившись, что из чтения толку не будет, я отложил книгу и стал наблюдать, как корчится на огне береста. Лениво тянулись какие-то незначительные мысли: вспоминалось то одно, то другое. Сколько времени я сидел так и думал – не знаю. Кажется, я вздремнул и проснулся от холода. Печка совсем потухла. Я вспомнил про гостью: наверное, и там давным-давно прогорели дрова.

Я вышел. Метель стихла, и на зеленовато-голубом небе, обсыпанном яркими звездами, повис стальной блин луны.

Осторожно откинув полог палатки, я вошел и присел на корточки перед потухшей печкой. Раздув огонь, я подкинул бересты. Она закорчилась, задымилась и вспыхнула жарким пламенем, потрескивая и освещая палатку. Я выпрямился и бросил взгляд на койку.

Ирина лежала на спине, укрытая одеялом, и нахмуренно, как-то чересчур напряженно смотрела на меня.

– Подойдите… – тихо сказала она.

Я подошел и сел к ней на койку. Она запустила пальцы в мою бороду и улыбнулась, просто и мягко, как улыбаются выздоравливающие:

– Какая смешная кудрявая борода. Сколько ей?

– Год.

– А вам? – спросила она, опуская руку и неторопливо застегивая пуговицу на груди моей гимнастерки.

– Тридцать.

– У вас есть жена?

– Нет. Я любил одну девушку, она была моей невестой, но потом… вышла замуж за моего приятеля.

– Ну и дура! – рассмеялась она. – Ведь вы, в общем, славный…

Я почувствовал легкий холодок где-то под сердцем и невольно подвинулся ближе к ней, но она отстранила меня.

– Послушайте, – как-то задумчиво сказала она. – Вы, наверное, задумывались над тем, что составляет радость жизни человека? Как по-вашему, что?

– Не знаю, – замялся я. – Очевидно, целый комплекс причин: любимая работа, семья, любовь…

– Нет, – вздохнула она, перебивая меня, – все это не то. Знаете, что главное?

– Ну-ка?

Она подперла рукой курчавую голову и, чуть прищурившись, коротко сказала:

– Свобода!

Опять тоскливо залаяла в тайге лисица. Береста прогорала, в палатке стало темнее, и, как волны, заходили по брезенту странные красноватые отблески.

– Ах, как она нужна вашей… прохожей, – нахмурив брови, тихо проговорила Ирина и вдруг, скрипнув зубами, стремительно схватила меня за плечи. Я наклонился и крепко поцеловал ее в теплые губы, чувствуя, как ускоряется стук моего сердца.

3 февраля.

Не знаю, вернусь ли я когда-либо снова к дневнику. Думаю, что нет. Бессмысленно писать, незачем, не надо ничего записывать больше… Я познал весь кошмар, который окружает нас, как покойника саван. Я познал цену свободы.

Вчерашнюю запись в дневнике я сделал в четыре часа ночи, когда, взволнованный, опустошенный, с радостным, но неспокойным сердцем, я оставил Ирину и вернулся к себе. Я не подозревал, что через 2–3 часа я постигну страшную правду.

Вот моя последняя запись, без рассуждений, без комментариев.

…Помню, что я уснул, тесно прижавшись к теплому телу Ирины. Было уютно, было детски-радостно и хорошо. Мне что-то снилось, тоже что-то светлое и хорошее.

Проснувшись же, я ощутил прежде всего пустоту. Было темно. Я пошарил рукой и понял – со мной никого не было. Я вздрогнул: где же она?

А на реке все плакала, все заливалась лисица.

– Как она противно кричит…

При первых же звуках знакомого голоса я был уже возле нее.

– Почему ты не спишь?

Она сидела в углу, у печки, в своей любимой позе – обняв колени и положив на них подбородок. Я кутал ее в бушлат, целовал ее волосы, лоб, глаза…

– Ты плакала?..

Она прижалась ко мне щекой и тихо сказала:

– Знаешь, мне так хорошо…

И, помолчав, добавила:

– Я хочу тебе рассказать, о том, что чувствует человек перед смертью…

– Ах, оставь… – поморщился я. – В самом деле, это уже слишком. Лучше расскажи о себе, ведь я ничего о тебе не знаю.

– Завтра. Обещаю. А перед смертью человек чувствует лишь сладкое замирание сердца перед великой тайной. И больше ничего. И – холод. Давай раздуем угли.

Я в одну минуту растопил печку. От тепла ли, от света ли – на душе повеселело. Ирина встала, потянулась и как-то буднично предложила:

– Будем-ка мы снова спать…

Но вдруг испуганно взглянула на меня и схватила за руку.

– Слышишь? Что это?

Я насторожился, но ничего не услышал.

– Слышишь?

– Нет.

Она растерянно улыбнулась:

– Это мне показалось. Я такая нынче пугливая… Когда ваши вернутся?

– Возможно, завтра.

– Утром?

– Вряд ли они ночью будут передвигаться. Впрочем, начальник странный, от него можно всего ожидать. А ты почему спрашиваешь?

– Я думаю, что тебе надо спать в другой палатке, – опустив глаза, сообщила она.

– Что? – удивился я, но тут же спохватился. – Прости, пожалуйста, я не сразу понял – почему.

– Иди… – приказала она.

Я обнял и поцеловал ее так, как целуют близкого, когда растаются на несколько часов – быстро и не крепко.

Я ушел и сел за дневник. Была глухая ночь. Окончив писать, вернее, еще не окончив, я, утомленный, положил голову на руки и, улыбаясь своему счастью, стал припоминать шаг за шагом все события. Потом всё смешалось. С трудом разлепив тяжелые ресницы, я поднял голову и осмотрелся. В палатке было мутно от предрассветных сумерек. За брезентом слышались негромкие голоса и поскуливание собак: «Наши вернулись», – подумал я и, рывком откинув полог, вышел. Шагах в тридцати от бивака я увидел подходивших на лыжах четырех мужчин, одетых в форму, с винтовками в руках. На привязях рвались собаки. И в ту же секунду совсем рядом, почти над ухом, оглушительно хлопнул выстрел.

Еще не отдавая себе отчета в том, что случилось, но повинуясь инстинкту, я кинулся к палатке Ирины, заметив при этом боковым взглядом, что все четверо пришельцев, как по команде, упали в снег. Вбежав в палатку, я ничего сначала не

мог разобрать – плавал белесый горьковатый туман. В гулкой тишине слышалось бульканье воды, выливавшейся, очевидно, из опрокинутой на столе колбы.

Прислонясь спиной к надетому на плечи дорожному мешку, Ирина полусидела на койке, как-то страшно и неестественно свесив на грудь голову. Черные волосы, разметавшись, свисали, закрывая лицо. Под растегнутым ватным бушлатом голубела знакомая мне шерстяная блузка, покрытая странными темными пятнами. Маленькая рука с полусжатыми пальцами далеко откинута в сторону. Одна нога была обута в валенок. Другой валенок валялся на земле рядом с согнутой в колене и низко опущенной правой голой ногой; матово-белая, она жалко и беспомощно выделялась на черном фоне одеяла. Большой палец ступни был засунут в спусковую скобу моего охотничьего ружья, упавшего дулом на край лабораторного стола.

С остановившимся дыханием, я осторожно раздвинул на ее лбу пряди курчавых волос.

Лица не было. Было что-то бесформенное и жуткое.

Я помню, как я взял со стола лист бумаги, на котором карандашом что-то было написано, прижал этот хрупкий лист к губам и поцеловал буквы – следы ее жизни. Как сквозь сон я слышал, что вошли люди, слышал перепуганный голос Ивана и другой, низкий, спокойный, отвечающий Ивану:

– Бежала из места заключения… политическая…

На этом дневник Михайлова обрывался. К последней

странице была приколота бумажка. Сверху типографскими буквами напечатано «Анализ грунта № 1937», а ниже – карандашом, ровным женским почерком, с правильно расставленными знаками препинания, было написано:

«Милый, у меня есть только полминуты времени. Собаки и конвой совсем рядом. Самое главное в жизни – свобода».

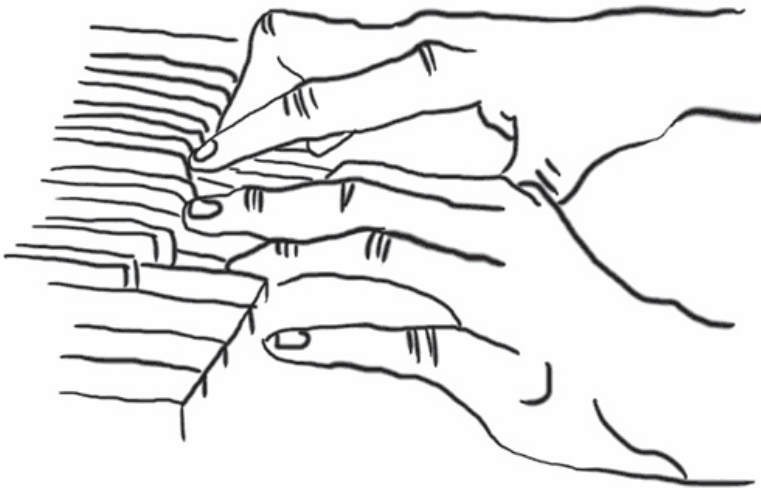
Долго хранилась у меня эта бумажка. Иногда я ее доставал, перечитывал, и никаких чувств она у меня не вызывала. А скоро и совсем забыл и про Ирину, и про Михайлова, и про записку.

Жизнь в тайге протекала бесцветно и скучно. Зимой, по ночам, под шум белых метелей, мы играли в карты, пили спирт. Хором, осипшими от мороза голосами пели свою любимую таежную песню:

Есть на севере дальнем могила,
Месяц клонит над нею рога.
Там позёмка летит легкокрыло,
И скрипит на морозе тайга.

Холодно. Ах, как холодно на этой земле!..

Пианист



В этот день было особенно жарко. Над взрытым бурым суглинком качались еле видимые волны зноя. Комары тучами плясали над нашими головами.

Я – сваебой. Деревянный, наспех сколоченный из сырого леса копер стоит на дне глубокого оврага, на берегу маленькой, холодной и быстрой речки Вулы-Сю-Иоль. С утра по позднего вечера мы, девять оборванных, голодных заклю-

ченных, налегая грудью на жерди ворота, ходим по кругу, поднимая вверх тяжелую, чугунную бабу.

Копер скрипит, стальной трос натягивается как струна, и, когда чугунная баба с грохотом ударяется о сваю, мы утираем пот с лица и стараемся всеми способами замедлить новое поднятие чугунного бездушного изверга, выматывающего из нас последние силы.

Десятник, маленький рябой мужичонка, сидит в стороне на бревнышке и, показывая сосновым «метром» на солнышко, то и дело напоминает:

– Давайте, ребятки, давайте… Чтобы нам полнормы еще до обеда схватить.

– Даем, даем, голубчик, – в тон ему отвечает мой сосед по рычагу, старичок Ефимыч, сгорбленный, чахоточный, часто и густо кашляющий, налегая сухим плечом, – ибо грудь у него болит, – на затертый до глянца березовый рычаг. – Всё, что можем, – даем, десятничек. Может, и житуху-то тебе скоро отдадим.

Десятник Голубев щурит на него острые глазки и неторопливо говорит:

– Ты, Ефимыч, больно разговорчив стал. Мне твоя жись не надобна. Я, брат, сам заключенный.

– Так какого же лешего ты подгоняешь? – озлобленно говорит Митька Пан, старый вор-рецидивист, поворачивая к нему бледное лицо. – Совести у тебя нет, у чёрта рябого.

Голубев тихо смеется.

– Ты, Пан, за что сидишь? – спрашивает он и тут же сам отвечает: – За воровство! А я? Убил? Ограбил? Против советской власти шел, как вон Ефимыч, Сережка или Всеволод? Нет, я преступлениев не делал. Коли хочешь знать, я счетоводом в колхозе был, ну и запутали меня… Кто-то из колхозного амбара пять возов ржи свез, а я – в ответе.

– Врешь ты, сука, – сплевывая, возражает Митька Пан, – сам спер, наверно, а на других сваливаешь.

Митька Пан – единственный из нас, кто не боится десятника. И он же единственный, на кого не жалуется начальству десятник, ибо боится Митьки. Зная это, Митька часто бросает работу и заваливается спать на солнышке тут же возле копра. Голубев ходит вокруг него и кричит, что загонит его в изолятор. Митька, закрыв глаза, блаженно улыбается и равнодушно обещает:

– Я те, рябой чёрт, сейчас все ребра повыламываю… Отойди и не мешай спать.

Больше всего я дружу с Всеволодом Федоровичем. Он по профессии пианист. Еще до заключения я бывал на его концертах в Москве, в консерватории. Но тогда мы не были знакомы. Талантливый и умный человек. Ему тридцать семь лет. Высокий, слегка сутулый, в больших круглых очках, сквозь которые смотрят добрые и умные глаза, неторопливый в движениях; от него веяло какой-то теплотой и порядочностью. Очень молчаливый, он покорно и старательно исполнял всякую каторжную работу. Срок у него был три го-

да, из них два с половиной он уже «отбыл». За что он был осужден – он и сам не знал, как и большинство политических.

В Москве у него осталась старая мать, с ней он переписывался и жил только одной мыслью – вернуться к ней и к своей прежней работе – пианиста. Но последнее сильно осложнилось одним обстоятельством: на физической работе его руки так огрубели и заскорузли, что «размять» их, по его собственному выражению, почти немыслимо. Это его страшно огорчало и заставляло целые ночи проводить не смыкая глаз.

Вечерами, после работы, когда мы бессильно валились на грязные, вшивые нары, он показывал мне скрюченные, шершавые пальцы и взволнованно спрашивал:

– Как вы думаете, Сережа, отойдут они когда-нибудь?

Я всеми силами старался его заверить, что, конечно, он будет снова играть, но в душе я сильно сомневался в этом. И, как назло, все три года в концлагере он находился на самых тяжелых работах: то с лопатой в руках стоял по колено в тухлой болотной воде, то катал нагруженную землею тяжелую тачку, то вытаскивал из воды десятиаршинные бревна.

Есть люди хитрые, изворотливые, они за весь свой каторжный срок пальца о палец, как говорится, не ударят. Они устроятся парикмахером, поваром, каптером, завхозом… Но есть люди – по пять, по десять лет изо дня в день катают тяжелую тачку. Это честные, скромные и покорные судьбе русские люди, попадающие в лагерь «за здорово живешь». К

таким людям относился и Всеволод Федорович.

…Копер мерно вздрагивал. Закоперщик, молоденький пятнадцатилетний мальчик Коля, дергал спусковую веревку и вслух громко отсчитывал количество ударов. Солнце подымалось все выше и выше, опаляя горячими лучами наши стриженые головы. На правом и левом берегах речки, в пятидесяти метрах от нас, землекопы отсыпали конуса – будущие подходы к мосту. Я смотрел вверх и видел, как на насыпи один за другим на фоне голубого неба появлялись люди с тачками, опрокидывали их, взмахивая руками, и снова откатывали пустые тачки. Они напоминали больших птиц, подлетающих к краю бездны и испуганно шарахающихся назад.

Несколько поодаль, в тени густых кустов дикой смородины, сидел на пне конвоир-охранник; свесив голову на грудь и не выпуская винтовки из рук, он мирно спал. С утра он был пьян, и к полудню его совсем развезло.

– Десятничек! – окликнул Митька Пан Голубева.

– Ну, чево тебе? – лениво спросил тот, не отрываясь от вырезывания узоров на своем «метре».

– А что, ежели я подойду чичас к часовому, вырву у него винтовку, тресну его прикладом по башке, потом тебе – пулю и айда в тайгу…

– Все едино не уйдешь, – негромко ответил Голубев.

– Почему?

– А потому, что на сотни километров тайга, болота да ко-

мары. Деревни появятся только на Вычегде. Пока ты до них доползешь – сдохнешь с голоду али в трясине потоп нешь.

– А я ж с винтовкой. Птиц стрелять буду, – вслух мечтал Митька Пан.

– Во-первых, у тебя пять патронов. У нашего охранника больше не бывает. Во-вторых, ты стрелять не умеешь. Значит – в первый день все их расстреляешь… Нет, не уйдешь, Митька.

– Вот дьяволы! – возмущался Митька Пан. – Знала советская власть, где лагерек для нашего брата построить: болота да чащобы…

– А ты как думал? Знамо, там люди… К-хе, к-хе… люди… – и, не договорив, старик Ефимыч закашлялся.

Я посмотрел на Всеволода Федоровича. Он, опустив низко голову и поблескивая на солнце стеклами очков, чему-то улыбался и сильно налегал грудью и руками на рычаг.

– Бух! – упала чугунная баба.

Снова наматывался трос на ворот, снова Коля дергал веревку…

– Бух!

– Бух!

– Бух!

Удары многоголосым эхом далеко разносились по тайге. Свая уходила все дальше и дальше в землю.

– Помощница смерти идет! – радостно закричал маленький закоперщик. – Кончай, ребята!

– Конча-а-а-ай! – покатилось по всей трассе.

На берегу из-за сосен показалась маленькая процессия. Впереди шла полная женщина, за нею – трое мужчин с фанерными ящиками на головах. Они несли обед. «Помощница смерти» получила это прозвище за то, что работала одно время санитаркой у лагерного фельдшера. Но за провинность (она выпила все эфирно-валериановые капли в аптечке) ее перевели сначала прачкой в баню, а потом смилостивились и поручили разносить обеды заключенным на работу. Женщина она была молодая и чрезвычайно сильная.

Каждый из нас получил по куску вонючей трески и по маленькому кусочку хлеба.

– Дай, ведьма, еще кусочек? – попросил Митька Пан.

– У начальничка! – басом ответила она и скомандовала своим разносчикам: – Пошли дальше!

Мы присели на траву и с жадностью стали поглощать треску и хлеб.

Всеволод Федорович сжимал и разжимал пальцы.

– Слушайте, – сказал я. – А почему бы вам не сходить к начальнику и не попросить его о переводе на какую-нибудь другую работу?

Всеволод Федорович грустно улыбнулся.

– Пробовал.

– Ну и что?

– Никогда не выходило.

– Знаете что? Сходите еще раз. Настаивайте.

Он пожал плечами.

– Бесполезно.

– Ах, какой вы! Надо добиваться. Иначе, конечно, ничего не выйдет.

Митька Пан покосился на нас.

– Ты, Всеволод, взаправду сходи. Тебе работа не под силу. Я это вижу. Сдохнешь – как пить дать. Руки для музыканта – это, верно, все. У меня был кореш, здорово на баяне играл. А потом на лесозаготовительном лагпункте не захотел работать и отрубил сам себе три пальца на левой руке. Так потом, как ни прилаживался играть – ни черта не выходило.

Мы рассмеялись.

– Я – вор, – продолжал Митька Пан, – но никакого бесчинства терпеть не могу. Вот и Ефимыча тоже бы надо освободить от сваебойства… Как, Ефимыч, а?

– Господь всех нас освободит, – тихо сказал старик.

– Вы, Митя, хоть и вор, но хороший человек, – сказал Всеволод Федорович, – куда лучше других, не воров. Только зря с десятником ругаетесь…

– Я еще ему башку срублю, – пообещал Митька Пан. – Слышишь, десятничек?

– Слышу, – отозвался Голубев, доедая треску. – Только смотри, как бы я тебя первого не упрятал куда следует… Давай начнем, ребятишки!

– Эх, кровопийца! – воскликнул Митька Пан. – Дай хоть людям дых перевести.

Он вскочил. Разорванная до пояса рубашка обнажала сильную, исколотую татуировкой грудь и живот, весь покрытый ножевыми шрамами. Голубые глаза на бледном лице сверкали гневом и ненавистью. Секунда, и – случилось бы то, что давно обещал сделать Митька Пан, но вдруг, резко повернувшись, он первый подошел к вороту и взялся за рычаг. Я видел, как прыгали желваки на его щеках.

Вечером мне удалось уговорить Всеволода Федоровича пойти к начальнику лагпункта. Отправились вместе.

Комендант долго не хотел нас выводить за зону, но потом, махнув рукой, приказал охраннику сопровождать нас.

Начальник лагпункта Сулимов жил в маленьком домике, в стороне от лагпункта, обнесенного забором с колючей проволокой. Минут пятнадцать мы стояли в передней, ожидая, когда он нас примет.

Вошли.

Сулимов лежал, развалясь на койке, и кормил сахаром огромную собаку овчарку. Ворот украшенной кровавыми петличками гимнастерки был раскрыт, ремень снят, и несколько верхних пуговиц на синих галифе растегнуты.

– Ну, что надо? – спросил он, не глядя на нас и продолжая забавляться с собакой.

Мы нерешительно мялись.

– Ну? – повторил он.

– Видите ли… извините… – робко начал Всеволод Федорович.

– Ну?

– Мы… я, собственно, по личному делу пришел.

– Ну?

– Я – пианист…

– Известный московский пианист, – добавил я.

Сулимов вскинул одну бровь и посмотрел искоса на меня.

– Вы потом будете говорить… Н-ну?

– Понимаете, гражданин начальник, – продолжал Всеволод Федорович, – я в течение двух лет нахожусь исключительно на физической работе. Мои руки превратились… вот… видите, – он протянул обе руки вперед, – и если я лишусь рук, то… то я не смогу играть и, по выходе из лагеря, буду лишен куска хлеба, так как кроме своего дела я ничего другого не знаю…

– Ну, и?.. Пошла! – крикнул Сулимов на овчарку, прыгнувшую передними лапами на край койки. – Ишь, обрадовалась! Дальше!

– И я бы очень просил вас предоставить мне какую-либо другую работу.

– Так, – отчеканил Сулимов, – ну, а вы что хотите?

– Да я просто пришел вместе с ним, – ответил я. – Хочу лишь подтвердить, что ему действительно очень тяжело на сваебойной работе.

– А на тачку оба не хотите? – улыбаясь, спросил Сулимов. – По какой статье осуждены?

– Пятьдесят восемь, пункт десять, – ответил Всеволод Фе-

дорович.

– А-а… Нет, другой работы для вас не найду. Говорю – тачку могу вам предложить. Не устраивает?

Мы молчали.

– Уведите, – скомандовал Сулимов конвоиру.

Митька Пан, узнав о постигшей нас неудаче, сказал, что лучше всего, когда жить в лагере делается невтерпеж, – это удрать. И предложил нам составить ему компанию. Мы отказались.

На другой день мы снова крутили ворот. Ефимыч все чаще кашлял и приседал порой на краешке копра.

– В гроб пора, Ефимыч, в гроб пора, – утешал Голубев.

– Я и сам знаю, что пора, – соглашался старичок, – да вот Господь Бог чегой-то все бережет.

– Ничего, ничего, время подойдет – помрешь, – стругая палочку, продолжал десятник, – я уж восьмой год в лагере, я много таких, как ты, видел, всех схоронили потихоньку.

– А скольких ты, Голубь, загнал в землю? – осведомился Митька Пан.

– Про то никто не знает, – усмехнувшись, ответил Голубев.

К полудню забили три сваи. После обеда все спустились к речке и стали подносить новые сваи к копру. Ночью прошел дождь, и погода целый день хмурилась. Мокрая земля не просыхала.

Все девять человек, включая и Колю, несли тяжелое брев-

но. Четыре новых сваи уже лежали возле копра. Подниматься в гору с такой ношей было очень трудно. Все напрягали последние силы. Командовал Митька Пан.

– Так… так, братва. Еще немного… так… Ефимыч, не сдавай. А еще лучше – отойди с-под бревна к чёртовой бабушке… все одно – толк от тебя не великий… Всеволод, перемени плечо, а то башку свернет, когда бросать будем… Иван, не хитри. Чего плечико опускаешь? Все несут, значит, и ты неси… Здоровый, а норовишь, как бы за чужой счет… Смотри на Ефимыча… Дохнет, а прет… Ну, осторожней, черти… Бросаем! Раз! Два Три!

Бревно полетело.

Всеволод поскользнулся на сыром суглинке и упал, далеко откинув правую руку. Ладонь уперлась в лежащую сваю. Бревно грохнулось и придавило Всеволоду пальцы.

– О-ох! – тихо вскрикнул он.

Наступила тишина. Все растерялись.

– Чего смотрите? – закричал Митька Пан. – Подымай!

Мы схватились за бревно и приподняли. Я выдернул руку Всеволода. Четыре пальцы были сплющены. Из-под ногтей неторопливо сочилась кровь. На наших глазах кисть синела и пухла все больше и больше. Всеволод лежал на боку молча, не поднимая головы. Очки упали, и было странно видеть его профиль без очков.

– Сережа, – тихо позвал он.

Я наклонился.

– Кончено? Руки нет?..

Я молчал.

Подошел конвоир.

– Надо бы… того… к фельдшеру его отправить, – сдвигая на затылок фуражку и отдуваясь, негромко предложил он.

С насыпи, побросав тачки, бежали заключенные.

Всеволод Федорович поднялся и сел. Странно улыбаясь, он взял левой рукой правую и положил изуродованную кисть на колени.

– Играть, пожалуй, не сможешь, – огорченно произнес Митька Пан.

Всеволод Федорович посмотрел мне в глаза. Я никогда не забуду этот страшный, удивленный взгляд.

– Идти можешь? – спросил конвоир.

Покачнувшись, Всеволод Федорович встал с нашей помощью.

– А отчего же и – нет? – спросил он.

В сопровождении подошедшего второго конвоира и мальчика Коли, он нетвердо пошел к лагпункту.

Я смотрел на его сгорбленную, высокую фигуру и думал о том, что хорошо бы забраться на самый верх копра и броситься оттуда вниз головой, чтобы не видеть больше этих бесконечных человеческих страданий на терпеливой русской земле.

Осенью сырым туманным утром Митька Пан зарубил топором десятника Голубева и убежал в тайгу.

Воспитатель

В полдень пошел дождь. Потемневшие ели грустно опустили мохнатые лапы; с них, точно слезы, катились редкие светлые капли. Серые, рваные тучи бежали беспорядочно, цепляясь за острые верхушки стройных пихт.

Едва только скрылся в кустах можжевельника стеганый бушлат десятника Рублева, как мы, словно по команде, побросали ненавистные нам тачки и в одну секунду сгрудились у догоравшего костра. Вооруженный конвоир проследил за нами прищуренным взглядом и снова принялся за свое любимое занятие – жонглирование тремя камешками. Его дело – смотреть, чтобы заключенные не убежали, а работают они или не работают, это его не касается. Подгонял в лагере хватает и без него: начальники лагпунктов, их помощники, прорабы, десятники, нарядчики, коменданты, воспитатели.

Мы протянули озябшие руки к костру, но поблаженствовать долго не пришлось.

– Внимание! Гришка Филон идет! – скомандовал семнадцатилетний вор-карманщик Сом.

Из леса спрыгнул в песчаный забой маленький, тонконогий человек в кожаной порыжевшей куртке и еще издали тенорком закричал:

– Отдыхаете, граждане заключенные? А работать кто

Гришка Филон был лагерным воспитателем. В прошлом – «тяжеловес» и «мокрушник» (бандит и убийца), теперь он возглавлял на лагпункте культурно-воспитательную часть.

Изумительное изобретение это – воспитатель.

Гришка Филон, как и мы, был заключенным, но почти пятнадцатилетнее пребывание в тюрьмах и лагерях с короткими перерывами жизни на воле научило его сразу же пристраиваться в лагере на теплых местечках. Работа воспитателя – одна из самых легких на советской каторге. Воспитатель имеет много преимуществ: он физически не трудится, получает самое лучшее питание, ему – почет и взятки и – большие шансы на досрочное освобождение. К этой «весьма ответственной» должности допускался только «социально близкий элемент», как называют уголовных преступников чекисты, и ни в коем случае (упаси боже!) не «политические». Правда, есть один минус в этой должности: жулик, раз побывавший в воспитателях, объявляется блатным миром вне закона, он считается изменником и в один прекрасный день его могут убить. Гришка Филон знал это и заискивал перед жуликами.

Ему было 35 лет. Маленький, сухощавый, с бесцветными и всегда бегающими по сторонам глазами, с белой слюной в уголках рта, он производил отталкивающее впечатление. Подражая начальству, он носил зеленые уродливые галифе, хромовые сапоги, гимнастерку, кожаную куртку и фуражку á la товарищ Сталин. Срок у него был пять лет, из них – три он уже отбыл.

О своем последнем «деле» он говорил много и охотно. А «дело» заключалось в следующем маленьком происшествии: ночью в темном переулке он «накрыл» женщину, а так как

она отказалась добровольно и без шума отдать ему свою шубу, то он бритвой отрезал ей нос, а шубу все-таки отнял…

Гришка Филон быстро подошел к нам и, подняв с земли совковую лопату, в одну секунду разбросал костер.

– Греться захотели? – приговаривал он, орудуя лопатой. – Греться? А вы за тачкой, за тачкой погрейтесь!

– Гражданин воспитатель, да ведь мы только что присели, – взволнованно проговорил Николай Иванович Сушков, профессор-археолог, нашумевший в свое время в Москве интереснейшими статьями о раскопках в Бухаре. Слабый, совершенно больной, он покорно в течение трех лет катал тачку. Осужден он был за «недонос» на своего брата – инженера, обвиненного во вредительстве.

Гришка Филон, далеко откинув последнюю горящую головню, оперся на лопату, обвел нас белесыми глазами и, стараясь придать своему голосу нравоучительный тон, заговорил:

– Вы, граждане, находитесь, так сказать, в «Исправительно-трудовом лагере НКВД»… э-э… Это, так сказать, не царская каторга, а… а – исправительная. Советское правительство во главе с товарищем Сталиным… э-э… не наказывает преступников, а перевоспитывает… Вы, так сказать, враги народа и доверия вам нет… а потому вас надо перевоспитать, перековать, так сказать…

– Я не враг народа, а вор, – вставил Сом, – ты меня, Филон, в общую кучу не мешай…

– Я не тебе речь говорю, а политическим… Помните, граждане заключенные, только через труд и перековочку вы вернетесь в ряды полноправных советских граждан… А поэтому вывозите земли на тачках как можно больше… Норму вывозки надо не только выполнять, но и перевыполнять!..

Как ни грустно было слушать речь воспитателя, все-таки многие из нас хихикнули.

– Чего зубья показываете? – взревел Филон. – Работать надо, а не смеяться… Я тоже был первый жулик и бандит, а теперь вот человеком стал… Норму надо делать! Норму!

– Ваши нормы, гражданин воспитатель, невыполнимы, – покачав головой, сказал профессор.

– Как это – невыполнимы? Ежели, конечно, ты не хочешь помочь нашей стране, то не выполнишь норму… Я тебя, старик, предупреждаю: если норму выполнять не будешь, отправишься на штрафной, так сказать, лагпункт… Кубики[11], кубики и кубики!..

Речь воспитателя затягивалась, а следовательно, затягивался и отдых. Мы начали задавать ему бессмысленные вопросы, только затем, чтобы подольше оттянуть встречу с общим другом – тачкой. Но Филон скоро спохватился и грозно крикнул:

– Ну, вот что: хватит трепаться!.. Эй, старик, подымайся!.. За работу!

---

[11] Кубик – на лагерном языке – кубический метр грунта. *(Здесь и далее – примечания автора.)*

Заключенные, не торопясь, стали расходиться по своим забоям.

Сом поднялся и запел:

…Тачка, ты, тачка, ты меня не бойси-и…
Я тебя не трону, ты не беспокойси-и…

Он смачно воткнул лопату в голубой суглинок.

…Рвутся бурки, рвется аммонал,
На кой чёрт мне сдался Беломорканал?..

От ежедневной, изнуряющей двенадцатичасовой физической работы нестерпимо болели спина и руки, на ладонях кровоточили мозоли, тачка валилась на бок, мучил голод.

На краю забоя, четко выделяясь на фоне рваных облаков, стоял маленький человек, запустив руки в карманы кожанки, в уродливых галифе, слюнявил дешевенькую папиросу, и, в силу какого-то закона парадоксальности, этот крохотный кусок мерзости, сляпанный из всех присущих человеку пороков, олицетворял собой ту силу, которая заставляла сотни тысяч людей, в погоне за лишним кубометром земли, в надежде на какое-то мифическое «досрочное освобождение», в надежде на скорую встречу с родными сердцами, терпеливо ожидающими где-то своего мученика, – заставляла тянуть из себя последние силы, харкать кровью, возить, возить и возить тяжелую тачку…

На другой день чугунный буфер, висевший у вахты, разбудил нас особенно рано. Было совсем темно. Нудные, холодные звуки напоминали кладбищенский набат.

Все население лагпункта, тысячу двести человек, построили по бригадам у палаток и бараков. Что-то затевалось. Возле вахты толпилось начальство.

Горев, начальник лагпункта, вдребезги пьяный, едва стоял на ногах; очевидно, он не протрезвился еще после вчерашней пьянки. Его бережно поддерживали два молодца с кровавыми петличками на шинелях.

– Тише! – крикнул один из них. – Начальник лагпункта хочет сказать вам несколько слов.

Горев слабо махнул рукой, глупо улыбнулся и выдавил:

– Гра…ык… гра…ык…

Тогда из свиты выскочил юркий Гришка Филон, вскочил на пенек и заорал что было мочи:

– Граждане заключенные! Сиводне у нас аврал… Всем понятно? Сиводне мы должны, так сказать, во что бы то ни стало отсыпать подход к мосту на 85-м пикете и… так сказать… пропустить поизд… Это задание на сиводнишний день идет от нашего начальника всех Ухто-Печорских исправительно-трудовых лагерей – товарища Якова Мороза… Я думаю, товарищи… то есть… граждане заключенные… что партия, товарищ Сталин и товарищ Мороз зовут нас… на агромный подвиг!.. Это вам не отмычкой замок открыть и не сумочку у мадамочки отрезать, а… так сказать, через труд и

перековочку пропустить поизд. Ура!

– Ура! – крикнули люди в малиновых петличках.

– Ура! – продребезжал единственный голос из толпы заключенных. Это взывал сгорбленный старичок, шатавшийся от слабости. Очевидно, он уже не соображал, что делал.

Построенный наспех большой мост через реку Лунь-Вож был готов. Справа и слева от него возвышались два длинных недосыпанных земляных конуса.

В длину всего моста красовался яркий плакат: «Труд в СССР – дело чести, дело славы, дело доблести и геройства! (Сталин)».

Суетливые десятники быстро расставили бригады землекопов, и работа началась. Забой нашей бригады находился на горе, метрах в ста от левого конуса. Часть бригады работала в огромной пещере старого забоя.

Прибежал Гришка Филон, набивая пену у губ, быстро заговорил:

– Нажимайте, граждане. Сам товарищ Мороз приедет на открытие моста… Говорят, всем скидки со сроков будут… досрочно освободят… оркестр приедет.

Маленький паровозик «кукушка», пронзительным свистом оглашая тайгу, подвозил шпалы и рельсы. Метр за метром укладывали путь.

Профессор Сушков с остервенением нагружал тачку песком, хилыми руками поднимал ее и, покачиваясь из стороны в сторону, вез по скользкому трапу вверх, на насыпь. Я ви-

дел, что он тратит последние силы.

– Оставьте, не торопитесь, – советовал я.

– А кто их знает, – отвечал он, прерывисто дыша, – может, и действительно досрочно освободят.

Вскоре приехал духовой оркестр. Музыканты быстро расположились на траве под соснами и заиграли бравурный фокстрот:

…Моя красавица мне очень нравится…

С насыпи вместе с тачкой скатился заключенный и сломал себе шею.

Профессор Сушков, нагрузив тачку, стал ее поднимать и вдруг, охнув, сел на землю, держась руками за живот. Я подбежал к нему и попытался приподнять его.

– Не надо… больно, – простонал он.

Подошел фельдшер, осмотрел профессора и равнодушно сказал санитарам:

– Надорвался… Унесите на лагпункт.

А люди один за другим бежали по узким трапам, сваливались с них, снова поднимались и снова брались за лопату и тачку.

Приехал товарищ Мороз. Толстый, с добротной папиросой в зубах, он ходил от забоя к забою, носком блестящего хромового сапога трогал грунт и спрашивал у заключенных:

– Ну, как грунт?

или:

– Что-то тачка у тебя, брат, мала.

или:

– Запомните, что только через честный, самоотверженный труд вы смоете с себя ваши позорные пятна преступления.

В эти минуты он удивительно напоминал Гришку Филона; мне показалось, что точно так же, как у Гришки, у него набивалась у рта слюна.

После короткого обеденного перерыва около ста человек отказались подняться с земли. Конвоиры кричали, стреляли в воздух, но все было напрасно. Партию человек в двадцать кое-как подняли и погнали на лагпункт в карцер. Я видел, как только они скрылись из глаз начальства, конвоиры дали полную волю кулакам и прикладам.

…Моя красавица мне очень нравится…

Выбежавший на минуту из пещеры Сом подмигнул мне и, показав на избиваемых людей, весело сказал:

– Перевоспитывают!

Насыпь росла прямо на глазах. Оркестр играл без перерыва. Ввалившимися глазами заключенные злобно смотрели на музыкантов и ругались:

– Хоть бы они, сволочи, перестали играть! И так невмоготу!

Со страшным грохотом обвалилась пещера, похоронив восемь человек, в том числе и Сома. Я едва успел отскочить от катившейся на меня большой глыбы земли.

…Моя красавица мне очень нравится…

Товарищ Мороз разрешил поставить полбригады на откопку трупов.

А с моста громко кричал плакат красивыми словами: «Труд в СССР – дело чести, дело славы, дело доблести и геройства! (Сталин)».

Поезд прошел через мост только вечером.

* * *

Три дня я валялся на нарах больной.

Пришел Гришка Филон и принес мне письмо от отца из Москвы. Он долго вертел в руках конверт, потом вытащил из него письмо, отдал мне, а конверт сунул в карман.

– Дай мне и конверт – попросил я.

– Нельзя… Что-то он подозрительный, должен проверить… – И ушел.

Вскоре Гришку Филона досрочно освободили за «ударную» работу. Кажется, он был единственный человек, получивший такую дорогую награду за мост Лунь-Вож.

Прошло полгода. Цинга скрючила мне ноги, и я еле-еле выполз из барака. Я долго не имел весточки из дома, и, когда новый воспитатель – в прошлом крупный аферист, Вой-

цеховский, – вручил мне второе письмо, я чуть не заплакал от радости. В письме, между прочим, отец мне писал:

«Вчера у нас был счастливый день: к нам пришел твой бывший воспитатель Семен Михайлович Огурцов. Пили чай, он нам долго рассказывал о тебе. Потом сказал, что завтра он едет назад в лагерь, где думает остаться на работе по вольному найму. Мы спросили, не будет ли он так любезен и не захватит ли что-нибудь для тебя? Он охотно согласился, сказал, что тебе надо приодеться поприличнее (почему ты до сих пор об этом не писал?). Мы дали ему два больших чемодана с вещами и продуктами для тебя. Получил ли ты их?»

Я сразу понял, для чего у меня отобрал конверт Гришка Филон.

Никаких чемоданов я, конечно, не получил и, думаю, никогда не получу. Да дело и не в чемоданах. Ведь Семен Михайлович Огурцов и был когда-то воспитателем Гришкой Филоном и великолепно знает, что нужно заключенному в советском концлагере. Главное – перевоспитание, а все остальное – вещи второстепенные.

На то Гришка Филон и воспитатель, чтоб знать это!

На этапе

Глубокий трюм баржи. Слышен плеск волн за бортом. В трюме 3000 человек. Кое-где горят фонари «летучая мышь», бросая слабый свет на спящих вповалку заключенных. Душно, сумрачно и смрадно. Рядом со мной сидит на разостланном ватном бушлате о. Сергий и что-то бормочет вполголо-

са. Бормочет уже давно, тихо и ровно, все одним и тем же голосом. Нас везут по этапу рекой в Усть-Вымь.

В соседнем отсеке, за толстыми столбами, подпирающими палубу, уголовники играют в карты. Они волнуются, вскрикивают и нехорошо ругаются. Мне отлично виден один из них. Он сидит без рубашки ко мне лицом, склонясь над ящиком-столом, на котором тускло горит дрожащая свеча. Он крив на левый глаз, и лицо его покрыто крупными угрями. Ему, очевидно, не везет, он волнуется и нервно кладет направо и налево замусоленные карты.

– Дана-бита… дана-бита…

– Бита! – негромко произносит его партнер, сидящий спиной ко мне. Я вижу только широкие плечи и курчавые волосы.

Кривой вскакивает и торопливо снимает с себя брюки под взрыв хохота наблюдающих за игрой уголовников.

– Двадцать рублей!.. Идет?.. – спрашивает кривой у партнера, протягивая брюки.

– Идет.

– Сенька, не лезь в бутылку! – советует кривому пожилой жулик. – Все одно погоришь…

Но кривой Сенька не слушает его. Он поддергивает спадающие кальсоны, усаживается на прежнее место, и игра продолжается. Но не долго, минут пять-шесть. По новому взрыву хохота я догадываюсь, что брюки проиграны.

Теперь Сеньке не отыграться… – весело замечает кто-то.

– Отыграюсь еще… – мрачно сообщает кривой жулик и оглядывается по сторонам. – Ставлю новый пинжак.

– А где он? – спрашивает партнер.

– А вона… – отвечает Сенька и показывает рукой в отсек напротив.

Я приподнимаюсь и смотрю по направлению Сенькиной руки, но никакого пиджака не вижу. В отсеке, густо набитом спящими в повалку заключенными, сумрачно. Лишь возле столба горит огарок и сидит какой-то белобородый старик и пьет кипяток из жестяной кружки. Лицо этого старика кажется удивительно знакомым, но я никак не могу вспомнить, где я его видел.

– Дана-бита… Дана-бита…

– Гони, Сенька, пинжак!

– Вот чичас потеха будет!

Сенька встает и, перешагивая через спящих, подходит к старику. Предчувствуя что-то недоброе, я напрягаю слух и зрение. Перестает бормотать и о. Сергий.

– Вам чего? – спрашивает старик, удивленно подымая глаза на Сеньку.

– Сымай, папаша, пинжак… – говорит Сенька, наклоняясь к старику.

– Это зачем?..

– Как зачем? – удивляется в свою очередь Сенька. – Я его в карты проиграл.

– Позвольте… Это мой пиджак.

Просыпаются спящие, приподымают головы и прислушиваются.

– Сымай, говорю, папаша!

– Послушайте… как же так…

– А, гад!.. Контра паршивая!..

Сенька бьет наотмашь старика по лицу, валит его на мокрые стлани и начинает срывать пиджак. Все смотрят и молчат. Никому не хочется ввязываться в историю.

– Нет… Это так нельзя… нельзя так… – говорит о. Сергий и хватает меня за плечо.

– Да помогите же! – кричит старик.

И словно по сигналу вскакивают человек двадцать политических заключенных.

– Товарищи! Не допустим! Бей жуликов!..

Мы бросаемся к месту происшествия. Вскакивают и уголовники. Кое-где тускло сверкают зажатые в руках ножи. Секунда – и началась бы общая кровавая свалка, но уголовники – народ трусливый. Заметив, что политических больше, они быстро стушевались, спрятали ножи и рассеялись по своим местам. Кривой Сенька бросил старика и, размахивая бритвой, добрался до своего отсека.

Старик лежал на спине и тяжело дышал, закрыв глаза. Из разрезанной под глазом щеки текла кровь: Сенька успел-таки полоснуть его бритвой. Я посадил его, прислонив спиной к столбу, кто-то принес воды. Рана была неглубокая, кровь удалось вскоре унять, и старик пришел в себя.

– Вы!.. – удивленно произнес он, вглядываясь в меня. – Неужели не узнаете?.. Впрочем, это возможно, бороду я отпустил… Сахаров. Помните?

* * *

Я сразу вспомнил.

Это было в Бутырской тюрьме, в Москве, осенью. Следствие по моему делу было закончено, и меня перевели из подследственной камеры в общую подсудную. В камере было 107 человек (а полагалось – 25). Спали и на нарах, и под нарами, и на специальных «ночных» щитах – между нарами.

В один день со мной, вернее, через несколько минут после меня в камеру вошли еще три человека. И стало нас 111 человек. Нас, последних четверых, староста камеры положил под нары, возле самых дверей – на места на нарах существовала очередь.

Я быстро подружился с новыми знакомыми. Люди они оказались интересные. Особенно – двое: полковник Дурнча и Веселовский. Оба они были в прошлом русские эмигранты из Харбина. Но после продажи советским правительством Китайско-Восточной железной дороги, вернулись, к своему несчастью, в Россию вместе с другими многочисленными «возвращенцами». Первое время всё было благополучно. Осели кто где. Полковник царской армии Дурнча получил совсем приличное место в Воронеже: он стал ди-

ректором большого кинотеатра. Там же, в Воронеже, нашел тихую пристань (уж не помню где) и его приятель Веселовский. Завелись новые знакомства. Веселовский подружился с учителем математики Николаем Николаевичем Сахаровым. И все трое – Дурунча, Веселовский и Сахаров – стали коротать длинные зимние вечера за преферансом. Но вот пришел 1936 год. Прокатилась первая (весенняя) волна арестов, и под эту первую волну угодили все «харбинцы», в том числе, конечно, и Дурунча с Веселовским. А за ними, как «хороший знакомый» – и учитель Сахаров. Дурунче и Веселовскому инкриминировали 58-ю статью пункты 1-й (измена родине), пункт 4-й (связь с международной буржуазией), пункт 10-й (антисоветская агитация) и пункт 11-й (контрреволюционная организация), Сахарову – пункты 10-й и 11-й.

Следствие продолжалось семь месяцев. Веселовский и Сахаров не вынесли мучительных допросов и подписали всё, что им предлагал следователь. Дурунча подписал только частично, несмотря на чудовищные пытки и издевательства. В подсудной камере они впервые встретились все вместе. До этого они сидели в одиночных камерах.

Мы подружились. Я им рассказывал о себе, они мне – о себе, часто вспоминали годы эмиграции в Харбине, и вспоминали о них всегда тепло. Рассказывали и свое «дело». Собственно говоря, «дела» никакого и не было, как и у всех нас. Все «дело» заключалось только в том, что они были эмигранты. И еще: у Веселовского где-то в Сингапуре или Сайгоне

остался сын, не пожелавший вернуться в СССР. Этого сына НКВД никак не хотел простить Веселовскому.

Невысокий и полный, чуть седеющий, полковник Дурунча был человек общительный и словоохотливый. Веселовский был слабовольным человеком. Он мучительно переживал заключение, часто вспоминал сына, и раза два я слышал, как он плакал по ночам. Добрый, покорный Сахаров стоически переносил все несчастья.

Вскоре нам пришлось расстаться. Меня судили. Я получил уготовленные мне судьбой пять лет лишения свободы и прямо из залы московского городского суда угодил в пересыльную тюрьму. Эта тюрьма помещалась во дворе Бутырской тюрьмы, в бывшей арестантской церкви.

Больше я уже моих друзей-харбинцев не встречал. Но судьба их меня интересовала. Я часто справлялся о них у всяких «прохожих арестантов», но никто ничего не мог мне сообщить.

* * *

– Николай Николаевич!.. Боже мой!.. Да как же это! Растерзать надо этого мерзавца.

– Не надо… Бог с ним! Оставьте! – махнул рукой Сахаров, прикладывая к щеке окровавленное полотенце.

– Зверье! Вот зверье! – громко сказал какой-то заключенный интеллигентного вида. – Конвою бы сказать.

– Только попробуй, стерва! – крикнул партнер кривого Сеньки. – Зарежем, как телку. И до лагеря не доедешь.

– Ну, мы посмотрим!

– Оставьте… и охота вам связываться… – тихо попросил Сахаров.

Подошел о. Сергий. Я познакомил его с Сахаровым.

– Пойдемте в наш отсек – предложил о. Сергий. – Там у нас тихо, народ все хороший…

– Да мне все равно… Пожалуй, пойдем.

Я взял мешочек Сахарова, и мы перешли в наш отсек. Разбуженные шумом арестанты снова укладывались спать. Жулики злобно посматривали на нас и о чем-то шептались.

– Ведь эдакий подлый народ! – сокрушенно качал головой Сахаров. – И откуда эдакая мразь появилась на русской земле? Ведь вот почитайте «Записки из мертвого дома» или другие дореволюционные тюремные мемуары, вы там эдакой подлости не встретите… А сколько вы получили… сроку? – вдруг спросил он.

– Пять лет. А вы?

– Десять…

Я вспомнил про его однодельцев.

– А где же Дурунча и Веселовский! Не здесь ли на барже?

– Нет… их здесь нет…

– Другим этапом отправлены? Сколько они получили?

– Нет, этапа им не вышло. Им другое вышло, – угрюмо ответил Сахаров. – Расстреляли…

О. Сергий перекрестился. Огарок свечи зашипел и потух. Стало совсем темно. Жулики перестали шептаться и тихо запели воровскую песню:

…Далеко, из Колымского края
Шлю, родная, тебе я привет…

Вода плещет о борт, словно убаюкивает. Сыро, темно, смрадно. Тяжелый, многоголосый храп. А в сердце – тоска и холод…

Одна ночь

Я стою возле маленького бревенчатого со ору жения – мертвецкой.

Осень. Уныло бегут лохматые тучи, нагоняя на душу тоску. Белыми свечками стоят березки и слушают печальную панихиду – тихий шум тайги. В сумерках плавно опадают редкие, последние листья с деревьев; сухие, желтые, они неторопливо падают на сырую землю…

Мертвецкая находится в самом конце огромного лагпункта, возле колючей проволоки. Каждый день сюда привозят несколько трупов. Вырытая в земле мертвецкая напоминает огромный братский гроб. Трупы лежат бок-о-бок на длинных, деревянных стелажах и безучастно ждут дня, когда их свалят на шаткую подводу и худенькая лошадка Зиночка проковыляет таежной дорожкой за реку и отвезет их на Сосновую горку.

Закутанный в рваный бушлат, я поглядываю на низенькую дверь мертвецкой и курю махорку. Там, за этой ветхой дверью, лежат люди, которых я еще несколько дней назад видел живыми, разговаривал с ними, вместе мечтал о будущем…

Третьим от входа, на правом стеллаже, лежит раздетый догола Максим Сорокин, мой давнишний товарищ по тюрьмам, студент, юркий, жизнерадостный, умный паренек. Он умер от цинги. Прямо под ним, на земле, скорчившись, лежит старик Потапыч, место которого – сторожа у мертвецкой – я занял сегодня. Старик умер вчера ночью на глини-

стых ступеньках возле двери в мертвецкую. Слаб был Потапыч, девятый год таскался по тюрьмам и лагерям, подвело его сердце…

Холодно. Поеживаясь, я начинаю ходить, шлепая по земле старыми кордовыми ботинками. Мучает голод. Эх! хлебца бы вдоволь! Да сольцой бы покруче посолить.

…Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час…

Я сам на грани полного истощения. Глаза ввалились, руки бессильно висят вдоль тела. Последние дни я уже был не в состоянии возить тачки и, как ни кричали на меня десятники и прорабы, я целый день лежал в забое и смотрел на холодное небо, мечтая о скором конце, мысленно прощаясь с дорогими мне людьми, оставшимися где-то далеко, далеко. Но, как часто бывает в жизни, в последнюю минуту пришло спасение. Старик Потапыч неожиданно умер, и освободилось его место, о котором мечтала не одна сотня заключенных. Перст божий указал на меня. Один сердобольный прораб устроил мне место сторожа. Лучшей работы трудно придумать для заключенного. Я был обеспечен восемьюстами граммами хлеба ежедневно и гарантирован от самого страшного – изнуряющей работы с тачкой. Правда, для доходяги – человека совершенно истощенного – восемьсот граммов хлеба не ахти как много. Эта порция съедается за один при-

сест.

Поет свою странную панихиду тайга, ночь черным саваном окутывает ее, и одна за другой потухают в сумраке свечи-березки.

…Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час…—

повторяю я одни и те же строчки, кутаясь в дырявый бушлат. Впереди – длинная осенняя ночь рядом с окоченевшими трупами.

Слышно, как на лагпункте, в одном из бараков, хором поют жулики:

Ах, вот си-ижу я-а в одино-очке,
В окно тюремное-е гляжу-у…

Я хорошо знаю эту песню, меня всегда поражало в ней несоответствие текста с мелодией. Слова – грустные, полные безысходной тоски, а мотив – разухабисто веселый.

…А слезы катятся, бра-атишка, незаметно
По исхуда-а-алому лицу-у…—

с присвистом летит песня.

Я останавливаюсь и слушаю. В песню вливаются звонкие женские голоса, очевидно, подхватил соседний женский ба-

рак.

…Меня-а окликнут часовые,
Окликнут раз, окликнут два-а,
Взведут курки они свои стальные,
Тогда наве-ек убьют меня-а…

Интересный народ жулики. Они единственные из заключенных, кто продолжают вести приблизительно тот же образ жизни в лагере, что и на воле. Они стараются получше одеться, играют в карты, воруют, пьют одеколон и денатурированный спирт, любят, ревнуют, ссорятся из-за женщин… Они знают, что за любовную связь полагается карцер, и какой! Карцер, из которого трудно выйти живым. И все-таки их это не останавливает. Я никак не пойму, что это – хорошо или плохо? Что это – «любовь сильнее смерти» или отчаяние обреченных?

Песня смолкла, и стало совсем тихо, как на кладбище. За проволокой, лениво шагая, прошел часовой и негромко кашлянул. Я собрал сухие ветки, положил их на землю и прилег.

…Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час…

Я поднялся и сел. В самом деле, почему же и я завтра не могу отправиться туда же, куда отправились Максим Сорокин и Потапыч? Разденут меня догола, отдадут мою одежду

еще живому арестанту и положат на скользкие стеллажи рядом с другими мертвецами.

Где-то в тайге прокричала сова. Я стал скручивать цигарку. Но свернуть ее мне так и не удалось, я услышал осторожные шаги у стены мертвецкой.

Затаив дыхание, я стал напряженно слушать.

Несколько секунд было тихо, потом опять захрустели ветки под чьими-то шагами. Инстинктивно я взял в руки толстую палку.

Из мрака выросли две неясные фигуры.

– Потапыч… – негромко позвал мужской голос.

Я встал во весь рост.

Обе фигуры быстро подошли ко мне. Это были мужчина и женщина.

– Нет Потапыча… – ответил я.

– Тише… – попросил мужчина. – А где он?

– Помер вчера.

– Помер? – удивленно протянул он. – Слыхала, Маруська?

– Жаль старичка… хороший старик был, – зевнув, отозвалась женщина.

Теперь я их разглядел. Он – молодой парень, в широких брюках, заправленных «по-блатному» в коротенькие сапожки. Она – остроносая девушка в казенной стеганой телогрейке. Под мышкой она держала что-то объемистое, завернутое в бумагу. Его я немного знал по лагерю. Поездной вор, за свое смазливое лицо он носил кличку Петька Красюк.

– Чего же Потапыча-то… туда положили? – осведомилась Маруська, показывая на мертвецкую.

– Да… там и он.

Кто-то вышел из барака, хлопнув дверью, и зашагал, громко ругаясь. Гости мои разом присели на землю.

– Комендант, сволочь, ищет – прошипел Петька. – Ишь, попер в третий барак.

В просвете между бараками смутно чернел силуэт человека. Когда он повернул за угол, Петька Красюк поднялся, сдвинул назад кепку и, подойдя ко мне вплотную, зашептал:

– Слышь, ты… как тебя… Ты что же, заместо Потапыча? Сторож?

– Да, сторож.

– Ты, брат, выручи… Понимаешь, дело такое… Коменданты ловят, некуда с бабой спрятаться… Сам понимаешь… дело такое… в карцере за ее, за дуру, сидеть не охота… А в бараке в аккурат вляпаешься… Так ты, это самое… пусти, понимаешь, к тебе… У нас с Потапычем все на мази было… Потапыч куш имел хороший через это… Маруська, дай-ка сюда, – он взял сверток, сунул мне в руку, – тут хлеб… буханка… два кило… Да чего ты глаза вылупил?.. Ты не теряйся…

Я понял, что хотели от меня. От изумления я не мог вымолвить ни слова.

– Так все?.. – спросил Петька Красюк. – Завязано? Пойдем, Маруська.

– Обожди… – остановил я. – Не могу я… разрешить.

Он грозно подвинулся и достал из кармана нож. Лезвие тускло сверкнуло.

– А этого не хочешь?.. Не будь дураком… Здесь я, может, и не стану с тобой связываться, а завтра в бараке прирежу, как суку последнюю… понял?.. Пошли, Маруська!

Они легко сбежали по земляным ступеням, открыли дверь и скрылись в мертвецкой.

Я растерянно стоял, держа буханку хлеба; она жгла мне руки.

Из мертвецкой послышался тихий смех женщины и приглушенный шепот Петьки:

– Обожди, я его чичас за ноги оттащу, оно и посвободней будет… ишь разлегся.

Я сел на хворост и швырнул в первый раз в жизни хлеб на землю.

Выплыла луна и голубым, слабым светом залила тайгу. Березки вновь засветились, вновь загорелись свечки, как будто прибавился еще один новый покойник. Пронзительно, как плакальщица, закричала сова. Легкий ветер зашуршал по сухой траве, понес рыжие листья; словно кадилами, тяжело закачали мохнатыми ветвями столетние ели.

Тайны жизни и смерти слились в один жуткий, нестройный аккорд…

Одиссея арестанта

…Я лежу в лазарете на лагпункте Ром-Ю. Час назад маленький, веселый фельдшер откровенно объявил, что, кажется, мои дни сочтены и протяну я еще очень недолго. Да я и сам чувствовал, что дела мои плохи. Я «дошел» на 3-м лагпункте.

Горит ночничок, тускло освещая деревянные койки.

Час ночи. За брезентом тихо шумит тайга, напевая заупокойную всем нам.

Может быть, завтра меня свезут на кладбище Ром-Ю. Короткая жизнь прожита глупо и ненужно. Умирать в 22 года!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.